

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2015 – 2016 учебный год. Заключительный этап**

**Первый тур
9 класс**

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)

Рид Грачёв

Диспут о счастье

Шумели деревья в Екатерининском парке. За деревьями ревели моторы. По улицам шли солдаты и пенсионеры. Над Лицеом полз вверх маленький самолёт. В библиотеке начинался диспут на тему «Что такое счастье».

На диспут пришли двенадцать пенсионеров и взвод солдат. Солдаты сели строем на две скамейки и стали держать на коленях пилотки. Пенсионеры сложили на стол сумки, книги, зонтики и палки. Пришла какая-то женщина в строгом жакете, села в уголок и стала серьёзно смотреть на солдат и пенсионеров.

«Вот они пришли, — думала женщина-библиотекарь, — и хотят говорить о счастье. "На свете счастья нет, а есть покой и воля". Я понимаю, что это значит, и я счастлива. Я счастлива, потому что знаю, какие слова весят и какие нет, какие поступки стоят того, чтобы их совершать, а какие никому не нужны. Я счастлива, потому что не жду от людей больше, чем они могут сделать и понять, и не сержусь на тех, кто причиняет мне боль. Они ведь не виноваты, они просто не понимают».

«Я счастлива, — думала женщина, — потому что меня радует бледное солнце за окном, и шум деревьев в парке, похожий на рёв моторов, и рёв моторов, похожий на шум деревьев. И эти солдаты с розовыми лицами и с пилотками на коленях, и эти опрятные старички и старушки, которым нечего делать и которые хотят поговорить о счастье».

Библиотекарь хотела сказать обо всём этом солдатам и пенсионерам, но в углу сидела женщина в скучном жакете, и библиотекарь подумала, что говорить не стоит, потому что её могут не понять, а незнакомая женщина, возможно, имеет свои установки на счастье, и ей может не понравиться то, что думала библиотекарь.

Кто знает эту женщину, кто она? Зачем она пришла сюда? Что думает эта женщина в своем серьёзном жакете?

И библиотекарь сказала обычные слова, какие должны говорить библиотекари, открывая диспуты о счастье.

Затем встал старичок в пиджаке цвета асфальта, только рукава до локтей не выцвели на его пиджаке, потому что много лет были закрыты нарукавниками.

Он сказал, что счастье в труде и что всё зависит от того, какую специальность выберешь в молодости. Сам он выбрал профессию бухгалтера и совсем не жалеет об этом. Он был счастлив, счастлив всю жизнь.

Старичок говорил долго, но главное он сказал вначале.

Румяная старушка сказала, что однажды, когда она заболела, к ней пришел молодой врач. Этот врач был очень любезен. Он сделал ей укол, прописал лекарство, улыбался, шутил. И она была счастлива оттого, что к ней пришел любезный молодой врач. Он так хорошо улыбался!

Потом старушка была в магазине. Там стояло в очереди много стилиг в узких брюках. Они толкались, наступали на ноги и не говорили «извините», не говорили «пожалуйста». И когда один стилига сильно толкнул старушку, она сказала: «Какая теперь

грубая молодёжь!» И вдруг стилига повернулся, улыбнулся и сказал старушке: «Простите, пожалуйста, здесь так тесно!» И кто же это был? Это был молодой врач. Да, да, она его сразу узнала. И она была счастлива во второй раз.

Старушка ещё долго рассказывала о молодом враче, но самое важное она рассказала вначале.

Другой старичок сказал, что счастье зависит от людей, с которыми рядом живёшь, и что самые плохие люди — мещане. У них у всех квартиры в Ленинграде и дачи в Ялте. Жить с ними рядом — сплошное несчастье. Но он никогда не видел мещан своими глазами и не знает, где они живут. Поэтому он счастливый.

Остальные девять старичков и старушек также сказали свои мнения о счастье. Они говорили долго и очень по-разному. Но главное — выяснилось, что все они счастливы или были счастливы, и, узнав это, старички и старушки порозовели и стали похожи издали на молодых.

Солдаты ничего не сказали о счастье. Они сидели строем, держали пилотки на коленях и хотели в кино. Женщина в мрачном жакете тоже ничего не сказала. Она убрала в сумку блокнот и строго посмотрела на солдат и пенсионеров.

Библиотекарь взглянула в окно на красное солнце, посмотрела на женщину в чёрном жакете, вздохнула и сказала обычные слова, какие говорят библиотекари, закрывая диспуты о счастье.

Пенсионеры взяли со стола свои книги, сумки, зонтики и палки. Солдаты встали со скамеек и вышли строем, держа пилотки в руках.

Куда-то делась женщина в незаметном жакете.

Библиотекарь вышла на улицу.

По улице шли солдаты и пенсионеры. Шумели деревья в Екатерининском парке. В кино шли разные люди, в основном молодые. В основном, они улыбались. А те, кто не улыбался, — смеялись. А те, кто не смеялся, — пели.

На них смотрел старичок в асфальтовом пиджаке и думал, что все они счастливы, потому что выбрали хорошие специальности.

Старушка смотрела и видела много молодых врачей, любезных, в узких брюках. И каждый раз, когда мимо проходил молодой врач, она радостно вздрагивала и её пожилое сердце сладко сжималось и сильно стучало...

Другой старичок смотрел и не видел мещан. Мещане прятались в своих квартирах и на дачах в Ялте. И поэтому старичок весело стучал палкой, глядя, как мимо идет передовая советская молодёжь.

Остальные старички и старушки тоже смотрели на молодёжь и вспоминали о том, какие они были счастливые по разным своим причинам и как хорошо они выступали на диспуте.

Только сами молодые люди не думали о счастье. Они были просто молоды, и просто красивы, и просто ошалели от счастья. Они просто шли в кино.

Женщина-библиотекарь тоже не думала о счастье. Она хотела сказать им, что ей также весело, что она тоже идет в кино и — видите — тоже улыбается.

Но она была уже не молодая и знала, что такое счастье. Поэтому она решила никому ничего не говорить.

...Солнце садилось за Баболовским парком. Над Лицеумом взбирался к рыжему облаку маленький самолёт.

1961

Примечания

Рид Иосифович Грачёв (настоящая фамилия Вите, 1935—2004) — писатель, эссеист, переводчик (в том числе, А. де Сент-Экзюпери). Мать и бабушка погибли в блокадном Ленинграде, воспитывался в детском доме. Принадлежал к поколению шестидесятников. Основные произведения созданы в 1960-е гг., однако при жизни почти

не публиковались. Всё написанное Р. Грачёвым легко поместилось в один том: Сочинения (СПб., 2014).

Екатерининский парк — парк в составе Государственного музея-заповедника «Царское Село», получил название по находящемуся в нём Екатерининскому дворцу, памятник архитектуры XVIII—XIX веков, находится в городе Пушкин под Санкт-Петербургом.

Лицей — здание дворцового флигеля Екатерининского дворца, в котором находилось одноименное учебное заведение, ныне — мемориальный Музей-Лицей.

Стиляги (самоназвание — штатники) — карикатурное прозвище молодых людей в 1950—1960-е гг., бравших за образец американскую моду и образ жизни. Узкие брюки-дудочки были одной из вызывающих примет одежды стилигов.

Баболовский парк — находится в Пушкине, к западу от Екатерининского парка.

Александр Городницкий

Аэропорты XIX века

Когда закрыт аэропорт,
Мне в шумном зале вспоминается иное:
Во сне летя во весь опор,
Негромко лошади вздыхают за стеною,
Поля окрестные мокры,
На сто губерний ни огня, ни человека...
Ах, постоялые двory,
Аэропорты девятнадцатого века!

Сидеть нам вместе до утра, —
Давайте с вами познакомимся получше.
Из града славного Петра
Куда, скажите, вы торопитесь, поручик?
В края обвалов и жары,
Под брань начальства и под выстрелы абрека.
Ах, постоялые двory,
Аэропорты девятнадцатого века!

Куда ни ехать, ни идти,
В любом столетии, в любое время года
Разъединяют нас пути,
Объединяет нас лихая непогода.
О, как друг к другу мы добры,
Когда бесчинствует распутица на реках!..
Ах, постоялые двory,
Аэропорты девятнадцатого века!

Какая общность в этом есть?
Какие зыбкие нас связывают нити?
Привычно чокаются здесь
Поэт с фельдъегерем — гонимый и гонитель.

Оставим споры до поры,
Вино заздравное – печали лучший лекарь.
Ах, постоянные дворы,
Аэропорты девятнадцатого века!

Пора прощаться нам, друзья, –
Окошко низкое в рассветной позолоте.
Неся нас в разные края,
Рванутся тройки, словно лайнеры на взлёте.
Похмелье карточной игры,
Тоска дорожная да будочник-калека...
Ах, постоянные дворы,
Аэропорты девятнадцатого века!

1971

Примечания

Александр Моисеевич Городницкий (род. в 1933) – поэт, один из основоположников авторской песни, ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук. Опубликовал восемь научных монографий, более сорока поэтических и мемуарных книг, выпустил более ста песенных дисков. Обращение к пушкинской эпохе постоянно в творчестве А.Городницкого.

Поручик – низший офицерский чин (XII класс).

Абрек – в период присоединения Кавказа к России (первая половина XIX в.) горец, участвовавший в борьбе против русских войск.

Фельдъегерь – военный или правительственный курьер.

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2015 – 2016 учебный год. Заключительный этап**

Первый тур

10 класс

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)

Александр Грин

Состязание в Лиссе

I

Небо потемнело, авиаторы, окончив осмотр машин, на которых должны были добиваться приза, сошлись в маленьком ресторане «Бель-Ами». Кроме авиаторов, была в ресторане и другая публика, но так как вино само по себе есть не что иное, как прекрасный полёт на месте, то особенного любопытства присутствие знаменитостей воздуха не возбуждало ни в ком, за исключением одного человека, сидевшего одиноко в стороне, но не так далеко от стола авиаторов, чтобы он не мог слышать их разговора. Казалось, он прислушивается к нему вполоборота, немного наклонив голову к блестящей компании.

Его наружность необходимо должна быть описана. В потёртом, лёгком пальто, мягкой шляпе, с белым шарфом вокруг шеи, он имел вид незначительного корреспондента, каких много бывает в местах всяких публичных соревнований. Клок тёмных волос, падая из-под шляпы, темнил до переносья высокий, сильно развитый лоб; чёрные длинного разреза глаза имели ту особенность выражения, что, казалось, смотрели всегда вдаль, хотя бы предмет зрения был не дальше двух футов. Прямой нос опирался на небольшие тёмные усы, рот был как бы сведён судорогой, так плотно сжимались губы. Вертикальная складка раздваивала острый подбородок от середины рта до предела лицевого очерка, так что прядь волос, нос и эта замечательная черта вместе походила на продольный разрез физиономии. Этому — что было уже странно — соответствовало различие профилей: левый профиль являлся в мягком, почти женственном выражении, правый — сосредоточенно хмурым.

За круглым столом сидело десять пилотов, среди которых нас интересует, собственно, только один, некто Картреф, самый отважный и наглый из всей компании. Лакейская физиономия, бледный, нездоровый цвет кожи, заносчивый тон голоса, причёска хулигана, взгляд упорно-ничтожный, пёстрый костюм приказчика, пальцы в перстнях и удручающий, развратный запах помады составляли Картрефа.

Он был пьян, говорил громко, оглядывался вызывающе с ревниво-независимым видом и, так сказать, играл роль, играл самого себя в картинном противополжении будням. Он хвастался машиной, опытностью, храбростью и удачливостью. Полёт, разобранный по частям жалким мозгом этого человека, казался кучей хлама из бензиновых бидонов, проволоки, железа и дерева, болтающегося в пространстве. Обученный движению рычагами и нажиманию кнопок, почтенный ремесленник воздуха ликовал по множеству различных причин, в числе которых не последней было тщеславие калеки, получившего костыли.

— Все полетят, рано или поздно! — кричал Картреф. — А тогда вспомнят нас и поставят нам памятник! Тебе и... мне... и тебе! Потому, что мы пионеры!

— А я видел одного человека, который заплакал! — вскричал тщедушный пилот Кальо. — Я видел его. — И он вытер слёзы платком. — Как сейчас помню. Подъехал с женой человек этот к аэродрому, увидел вверху Райта и стал развязывать галстук. «Ах, что?» — сказала ему жена или дама, что с ним сидела. «Ах, мне душно! — сказал он. — Волнение в горле... — и прослезился. — Смотри, — говорит, — Мари, на величие человека. Он победил воздух!» Фонтан.

Все приосанились. Общая самодовольная улыбка потонула в пиве и усах. Помолчав, пилоты чокнулись, значительно моргнули бровями, выпили и ещё выпили. Образованный авиатор, Альфонс Жиго, студент политехникума, внушительно заявил:

— Победа разума над мёртвой материей, инертной и враждебной цивилизации, идёт гигантскими шагами вперёд.

Затем стали обсуждать призы и шансы. Присутствующие не говорили ни о себе, ни о других присутствующих, но где-то, в тени слов, произносимых хмелеющим языком, заметно таился сам говорящий, с пальцем, указывающим на себя. Один Картреф, насупившись, сказал наконец за всех это же самое.

— Побью рекорд высоты — я! — заголосил он, нетвёрдо махая бутылкой над неполным стаканом. — Я — есть я! Кто я? Картреф. Я ничего не боюсь.

Такое заявление мгновенно вызвало тихую ненависть. Кое-кто хмыкнул, кое-кто преувеличенно громко и радостно выразил отсутствие малейших сомнений в том, что Картреф говорит правду; некоторые внимательно, ласково посматривали на хвастуна, как бы приглашая его не стесняться и говоря: «Спасибо на добром слове». Вдруг невидимый нож рассёк прозрачную близость этих людей, они стали врагами: далёкая сестра вражды — смерть подошла близко к столу, и каждый увидел её в образе стрекозообразной машины, порхающей из облаков вниз для быстрого неудовлетворительного удара о пыльное поле.

Наступило молчание. Оно длилось недолго, его отравленное остриё прочно засело в душах. Настроение испортилось. Продолжался некоторое время кислый перебой голосов, твердивших различное, но без всякого воодушевления. Собутыльники вновь умолкли.

Тогда неизвестный, сидевший за столиком, неожиданно и громко сказал:
— Так вы летаете!

II

Это прозвучало, как апельсин в суп. Треснул стул, так резко повернулся Картреф. За ним и другие, сообразив, из какого угла грянул насмешливый возглас, обернулись и уставились на неизвестного глазами, полными раздражённой бессмыслицы.

— Что-с? — крикнул Картреф. Он сидел так: голова на руке, локоть на столе, корпус по косой линии и ноги на отлёте, в сторону. В позе было много презрения, но оно не действовало. — Что такое там, знакомый? Что вы хотите сказать?

— Ничего особенного, — задумчиво ответил неизвестный. — Я слышал ваш разговор, и он произвёл на меня гнусное впечатление. Получив это впечатление, я постарался закрепить его теми тремя словами, которые, если не ошибаюсь, встревожили ваше профессиональное самолюбие. Успокойтесь. Моё мнение не принесёт вам ни вреда, ни пользы, так как между вами и мной ничего нет общего.

Тогда, уразумев не смысл сказанного, а неотразимо презрительный тон короткой речи неизвестного человека, все авиаторы закричали:

- Чёрт вас побери, милостивый государь!
- Какое вам дело до того, что мы говорили между собой?
- Ваше оскорбительное замечание...
- Прошу нас оставить, вон!
- Прочь!
- Долой болтуна!

— Негодяй!

Неизвестный встал, поправил шарф и, опустив руки в карманы пальто, подошёл к столу авиаторов. Зала насторожилась, глаза публики были устремлены на него; он чувствовал это, но не смутился.

— Я хочу, — заговорил неизвестный, — очень хочу хотя немного приблизить вас к полёту в истинном смысле этого слова. Как хочется лететь? Как надо летать? Попробуем вызвать непережитое ощущение. Вы, допустим, грустите в толпе, на людной площади. День ясен. Небо вздыхает с вами, и вы хотите полететь, чтобы наконец засмеяться. Тот смех, о котором я говорю, близок нежному аромату и беззвучен, как страстно беззвучна душа.

Тогда человек делает то, что задумал: слегка топнув ногой, он устремляется вверх и плывёт в таинственной вышине то тихо, то быстро, как хочет, то останавливается на месте, чтобы рассмотреть внизу город, ещё большой, но уже видимый в целом, — более план, чем город, и более рисунок, чем план; горизонт поднялся чашей; он всё время на высоте глаз. В летящем всё сдвинуто, потрясено, вихрь в теле, звон в сердце, но это не страх, не восторг, а новая чистота — нет тяжести и точек опоры. Нет страха и утомления, сердцебиение похоже на то, каким сопровождается сладостный поцелуй.

Это купание без воды, плавание без усилий, шуточное падение с высоты тысяч метров, а затем остановка над шпиком собора, недостижимо тянувшимся к вам из недр земли, — в то время как ветер струнит в ушах, а даль огромна, как океан, вставший стеной, — эти ощущения подобны гениальному оркестру, озаряющему душу ясным волнением. Вы повернулись к земле спиной; небо легло внизу, под вами, и вы падаете к нему, замирая от чистоты, счастья и прозрачности увлекающего пространства. Но никогда не упадёте на облака, они станут туманом.

Снова обернитесь к земле. Она без усилия отталкивает, взмывает вас всё выше и выше. С высоты этой ваш путь свободен ночью и днём. Вы можете полететь в Австралию или Китай, опускаясь для отдыха и еды где хотите. Хорошо лететь в сумерках над грустящим пахучим лугом, не касаясь травы, лететь тихо, как ход шагом, к недалёкому лесу; над его чёрной громадой лежит красная половина уходящего солнца. Поднявшись выше, вы увидите весь солнечный круг, а в лесу гаснет алая ткань последних лучей.

Между тем тщательно охраняемое под крышей непрочное, безобразное сооружение, насквозь пропитанное потными испарениями мозга, сочинившими его подозрительную конструкцию, выкатывается рабочими на траву. Его крылья мертвы. Это — материя, распятая в воздухе; на неё садится человек с мыслями о бензине, треске винта, прочности гаек и проволоки и, ещё не взлетев, думает, что упал. Перед ним целая кухня, в которой, на уже упомянутом бензине, готовится жаркое из пространства и неба. На глазах очки, на ушах — клапаны; в руках железные палки и вот — в клетке из проволоки, с холщовой крышей над головой, подымается с разбега в пятнадцать сажен птичка божия, ощупывая бока.

О чём же думает славное порхающее создание, держащееся на воздухе в силу не иных причин, чем те, благодаря которым брошенный камень описывает дугу? Отрицание полёта скрыто уже в самой скорости, — бешеной скорости движения; лететь тихо, значит упасть.

Да, так о чём думает? О деньгах, о том, что разобьётся и сгинет. И множество всякой дряни вертится в его голове, — технических папильоток, за которыми не видно причёски. Где сесть, где опуститься? Ах, страшно улетать далеко от удобной площади. Невозможно опуститься на крышу, телеграфную проволоку или вершину скалы. Летящего тянет назад, летящий спускается — спускается на землю с виноватым лицом, потому что остался жив, меж тем зрители уходят разочарованные, мечтая о катастрофе.

Поэтому вы не летали и летать никогда не будете. Знамение вороны, лениво пересекающей, махая крыльями, ваш судорожный бензиновый путь в синей стране, должно быть отчеканено на медалях и роздано вам на добрую память.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — сказал буфетчик, расположившийся к неизвестному. — Вот она, я налил.

Незнакомец, поблагодарив, выпил коньяк.

Его слова опередили туго закипавшую злобу лётчиков. Наконец, некоторые ударили по столу кулаками, некоторые вскочили, опрокинув бутылки. Картреф, грозно согнувшись, комкая салфетки и пугая глазами, подступил к неизвестному.

— Долго вы будете ещё мешать нам? — закричал он. — Дурацкая публика, критики, чёрт вас возьми! А вы летали? Знаете ли вы хоть одну систему? Умеете сделать короткий спуск? Смыслите что-нибудь в авиации? Нет? Так пошёл к чёрту и не мешай!

Незнакомец, улыбаясь, рассматривал взбешённое лицо Картрефа, затем взглянул на свои часы.

— Да, мне пора, — сказал он спокойно, как дома. — Прощайте, или, вернее, до свидания; завтра я навещу вас, Картреф.

Он расплатился и вышел. Когда за ним хлопнула дверь, с гулкой лестницы не донеслось шума шагов, и лётчику показалось, что нахал встал за дверью подслушивать. Он распахнул её, но никого не увидел и вернулся к столу.

III

«Воздух хорош», — подумал Картреф на другой день, когда, описав круг над аэродромом, рассмотрел внизу солнечную пестроту трибун, полных зрителей. Его соперники гудели слева и справа; почти одновременно поднялось семь аэропланов. Смотря по тому, какое положение принимали они в воздухе, очерк их напоминал ящик, конверт или распушенный зонтик. Казалось, что все они направляются в одну сторону, между тем летели в другую. Моторы гудели, вдали — как толстые струны или поющие волчки, вблизи — треском парусины, разрываемой над ухом. Стоял шум, как на фабрике. Внизу, у гаражей, двигались по зелени травы фигурки, словно вырезанные из белой бумаги; то выводили другие аэропланы. Играл духовой оркестр.

Картреф поднялся на высоту тысячи метров. Сильный ветер трепал его по лицу, бурное дыхание болезненно напрягало грудь, в ушах шумело. Земной пейзаж казался отсюда качающейся круглой площадью, усеянной пятнами и линиями; аэроплан как бы стоял на месте, в то время, как пространство и воздух неслись мимо, навстречу. Облака были так же далеки, как и с земли.

Вдруг он увидел фигуру, относительно которой не мог ни думать ничего, ни соображать, ни рассмеяться, ни ужаснуться — так небывало, вне всего земного, понятного и возможного воспрянула она слева, как бы мгновенно сотворённая воздухом. Это был неизвестный человек, вызвавший вчера вечером гнев пилота. Он нёсся в позе лежащего на боку, подперев рукой голову; новое, прекрасное и жуткое лицо увидел Картреф. Оно блестело, иначе нельзя назвать гармонию странного воодушевления, пылавшего в чертах этого человека. Напряжённое сияние глаз напоминало глаза птиц во время полёта. Он был без шляпы, в обычном, средней руки костюме; его галстук, выбившись из-под жилета, бился о пуговицы. Но Картреф не видел его одежды. Так, встретив женщину, сразу поражающую огнём своей красоты, мы замечаем её платье, но не видим его.

Картреф ничего не понял. Его душа, поражённая чувством, которое мы не можем представить, метнулась прочь; он повиновался ей, круто нажав руль, чтобы свернуть в сторону. Неизвестный, описав полукруг, мчался опять рядом. Мысль, что это галлюцинация, слабо шевельнулась у Картрефа; желая оживить её, он закричал:

— Не надо. Не хочу. Бред.

— Нет, не бред, — сказал неизвестный. Он тоже кричал, но его слова были спокойны. — Восемь лет назад я посмотрел вверх и поверил, что могу летать, как хочу. С тех пор меня двигает в воздухе простое желание. Я подолгу оставался среди облаков и

видел, как формируются капли дождя. Я знаю тайну образования шаровидной молнии. Художественный узор снежинок складывался на моих глазах из вздрагивающей сырости. Я опускался в пропасти, полные гниющих костей и золота, брошенного несчастьем с узких проходов. Я знаю все неизвестные острова и земли, я ем и сплю в воздухе, как в комнате.

Картреф молчал. В его груди росла тяжёлая судорога. Воздух душил его. Неизвестный изменил положение. Он выпрямился и встал над Картрефом, немного впереди лётчика, лицом к нему. Его волосы сбились по прямой линии впереди лица.

Ужас — то есть полная смерть сознания в живом теле — овладел Картрефом. Он нажал руль глубины, желая спуститься, но сделал это бессознательно, в направлении, противоположном желанию, и понял, что погибает. Аэроплан круто взлетел вверх. Затем последовал ряд неверных усилий, и машина, утратив воздушный рельс, раскачиваясь и перевёртываясь, как брошенная игральная карта, понеслась вниз.

Картреф видел то небо, то всплывающую из глубины землю. То под ним, то сверху распластывались крылья падающего аэроплана. Сердце лётчика задрожало, спутало удары и окаменело в невыносимой боли. Но несколько мгновений он слышал ещё музыку, ставшую теперь ясной, словно она пела в ушах. Весёлый перелив флейт, стон барабана, медный крик труб и несколько отдельных слов, кем-то сказанных на земле тоном взволнованного замечания, были последним восприятием лётчика. Машина рванула землю и впилась в пыль грудой дымного хлама.

Неизвестный, перелетев залив, опустил в лесу и, не торопясь, отправился в город.

Опубликовано: 1921

Примечания

Александр Степанович Грин (настоящая фамилия Гриневский, 1880 – 1932) – писатель-романтик, создатель вымышленной южной приморской страны (её часто называют Гринландией), в которой происходит действие большинства его произведений. Лиссе (как и Зурбаган) – один из городов этой страны. По воспоминаниям жены писателя В. В. Калицкой рассказ «Состязание в Лиссе» написан вскоре после авиационной недели в Петербурге 23 апреля - 2 мая 1910 г.

«Бель-Ами» (франц.) – милый друг.

Фут – в английской системе мер и в России до введения метрической системы – 12 дюймов (30,48 см).

Райт, братья Уилбур и Орвилл – американские изобретатели, построившие самолёт и впервые совершившие полёт на нём 17 декабря 1903 г. (12 секунд, 40 м.)

Сажень – старорусская единица измерения расстояния, 2,13 м.

Осип Мандельштам

Адмиралтейство

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листе прозрачный циферблат,
И в тёмной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырёх стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трёх измерений узы
И открываются всемирные моря.

1913

Примечания

Осип Эмилевич Мандельштам (1891—1938) – поэт, один из основателей акмеизма. Стихотворение «Адмиралтейство» входит в сборник «Камень» (1916).

Адмиралтейство – комплекс зданий в Петербурге на берегу Невы; строительство было начато по чертежам Петра I (1704), а завершено, после неоднократных перестроек, в начале XIX в.; венчающий башню центрального здания кораблик – один из символов Петербурга.

**Всероссийская олимпиада школьников по литературе.
2015 – 2016 учебный год. Заключительный этап**

Первый тур

11 класс

Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)

Татьяна Толстая

Белые стены

Аптекарь Янсон в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристройку в две комнаты, над курятником, с видом на парник. Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками; в июне собирался встречать ораву съёмщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съёмщики, купили дачу у его вдовы.

Все это было бесконечно давно, и Янсона я никогда не видала, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером, по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет чингисханова орда моих сестёр и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь пар лыж и санки без счёту, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы, развалив руки, в белых атласных лифчиках хрущёвского пошива, в ничему не соответствующих цветастых трусах. В 1968 году мы залезли на чердак. Там ещё лежало сено, накошенное Янсоном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краёв маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованый, страшно сухой внутри на ощупь; в нём чудно сохранились огромные лёгкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, тёмные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями – уже распадающиеся на кварки серо-жёлтые кружева – их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растёртая и просыпанная временем, пыль уже неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.

В 1980 году в припадке разведения клубники мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвёл и плодоносил аптекарский эдем. На некоей глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу – тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, – очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, – нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсон рассеялся, распался, ушёл в землю, его мир был уже давно и плотно завален мусором четырёх поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсонъ», не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик заблудившейся, ушедшей куда глаза глядят, валерианы.

Летом прошлого, 1997 года, обсчитавшись сдуру и решив, что даче нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелёными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены

рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися ржавыми гвоздями, – пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была совсем уж роскошной, мы старые обои отдерём до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт.

Под белыми в зелёную шашечку оказались белые в синюю рябу, под рябой – серовато-весенние с плакучими берёзовыми серёжками, под ними – лиловые с выпуклыми белыми розами, под лиловыми – коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, под клёнами открылись газеты – освобождены Орел и Белгород, праздничный салют; под салютом – «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак»; под собаками – траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, препоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне – крем «Усатин» (а как же!), и: «Все высшее общество Америки употребляет только чай Kokio букет ландыша. Склады чаёв Дубинина, Москва, Петровка, 51», и: «Отчего я так красива и молода? – Ионачивара Масакадо, выдаётся и высылаётся бесплатно», и: «Покупая гильзы, не говорите: „Дайте мне коробку хороших гильз“, а скажите: ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА, лишь тогда вы уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонки и гигиеничны. ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА.»

Начав рвать и мять, мы все рвали и мяли слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, как слои времени; начав рвать, мы уже не могли остановиться, – из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась тонкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попиравших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей. Литература – это всего лишь буквы на бумаге, – говорят нам сегодня. Не-а. Не «всего лишь». В этой рукомойне, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона; намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал её сбережёнными с детства газетами, – стопочка к стопочке, пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, – аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спальню, – частный уголок, толстая дверь с тяжёлым шпингалетом, под полом – свои, чистые куры. В смежной камерке, с балконом, с окном на закат, на чёрные карельские ели, – столовая-гостиная: можно кушать кофе с цикорием, можно, сидя в жёстком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не сгинул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдёт по первому снегу в лёгких чёрных валенках. Вот достанет из сундука – и пройдёт, оставит следы.

Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую, мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам; азарт очищения охватил все четыре поколения, мы тёрли и тёрли. Мы правда старались: мы не жалели ногтей и скребков; местный магазин, пребывавший тридцать лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукцией «Джонсон и Джонсон»; Джонсоны против Янсона; а что же может поделаться один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители, – аэрозоли для стирания памяти, кислоты для выведения прошлого. Мы выскребли всё: и белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряды завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского «Усатина» в расчёте на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсону, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобившихся ног.

Мы протёрли доски добела, до проступившего рисунка годовых колец на скоблёном дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули её в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и как следует, без пузырей, – по инструкции; – промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам, – клей на клей, – отнесли в спальню аптекаря Янсона, где, опять же по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая «старой ветошью» (неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем), притёрли свежие, белые в веночках обои к свежей, ещё пахнувшей Джонсоном и Джонсоном – обоими Джонсонами – стене. Клей взялся, европеец не подвел, обои прилипли как страстный поцелуй, без люфта.

И вообще лето под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Всё быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они тут всегда и были: без тёмных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно, – обдирать и клеить. Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый, и, честно говоря, совсем не европейский, – ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а – прямо скажем – глаза бы наши не глядели, – чего уж там – получился сарай в цветочках. Собачья будка. Приют убогого, слепорожденного чухонца. В куске всё смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем, совсем белые обои – без рисунка – а сейчас ведь всё можно достать, – вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически-безразличным, демократически-нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной, буддийской простоты.

И в городе, у себя дома, каждый сделает то же самое. Белое – это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше – просто малярная кисть или валик, водоэмульсионная краска или штукатурка, – шарах – и чисто. Все так сейчас делают. – И я так сделаю. – И я.

И я тоже. Мне нравится белое! Начать жизнь сначала! Не сдаваться! На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью, в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками под мышкой, с букетом звёздчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времён в испуганной памяти, выходить вонь Михаил Августович Янсонъ, шведъ, лютеранинь, мещанинь, гражданинъ, аптекарь – трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет, – Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещённого прошлого, свидетель истории, добела ободранной нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, – кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека – и, ненужный больше ни одному человеку на этом новом, отбелённом, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушёл, наверное, навсегда и непоправимо, в травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на ветру, безымянную и блаженную, господню фармакопею.

Ноябрь 1997

Примечания

Татьяна Никитична Толстая (род. в 1951) – писательница, публицист, телеведущая, внучка писателя А.Н. Толстого. Автор рассказов, эссе и романа «Кысь» (2000).

Фармакопея – руководство для врачей и фармацевтов, содержащее описание свойств, способов приготовления и хранения лекарств; список лекарственных веществ.

Павел Коган

Ракета

Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна.
Ломоносов.

Трёхлетний
вдумчивый человек,
Обдумать миры
подошедший к окну,
На небо глядит
и думает Млечный
Большую Медведицей зачерпнуть.

...Сухое тепло торопливых пожатий,
И песня,
Старинная песня навзрыд,
И междупланетный
Вагоновожатый

Рычаг переводит
На медленный взрыв.
А миг остановится.
Медленной ниткой
Он перекрутится у лица.
Удар!
И ракета рванулась к зениту,
Чтоб маленькой звездочкой замерцать.
Грома остаются внизу,
И на Млечный,
Космической непогодой продут,
Ракету выводит сын человеческий,
Как воля человеческих
Конечный продукт.
И мир,
Полушарьем известный с пелёнок,
Начнёт расширяться,
Свистя и крутясь,
Пока,
Расстоянием опалённый,
Водитель зажмурится,
Отворотясь.
И тронет рычаг.
И, почти задыхаясь,
Увидит, как падает, дымясь,
Игрушечным мячиком
Брошенный в хаос
Чудовищно преувеличенный мяч.

И вечность
Космической бессонницей
У губ,
У глаз его
Сходит на нет,
И медленно
Проплывают солнца,
Чужие солнца чужих планет.
Так вот она – мера людской тревоги,
И одиночества,
И тоски.
Сквозь вечность кинутые дороги,
Сквозь время брошенные мостки!
Во имя юности нашей суровой,
Во имя планеты, которую мы
У моря отбили,
Отбили у крови,
Отбили у тупости и зимы.
Во имя войны сорок пятого года.
Во имя чекистской породы.
 Во и! –
мя!
Принявших твердь и воду.
Смерть. Холод.
Бессонницу и бои.
А мальчик мужает...
 Полночью давней
Гудки проплывают у самых застав.
Крылатые вслед
 разлетаются ставни,
Идёт за мечтой,
 на дому не застав.
И может, ему,
 опаляя ресницы,,
Такое придёт
 и заглянет в мечту,
Такое придёт
 и такое приснится...
Что строку на Марсе его перечтут.
А Марс заливают полнебосклона.
Идёт тишина, свистя и рыча.
Водитель ещё раз проверит баллоны
И медленно
 пе-ре-ведёт рычаг.
Стремительный сплав мечты и теорий,
Во всех телескопах земных отблестав,
Ракета выходит
На путь метеоров.
Водитель закуривает.
Он устал.

Примечания

Павел Давидович Коган (1918 — 1942) – поэт военного поколения. Учился в ИФЛИ (Институте философии и литературы), добровольцем ушёл на фронт, погиб под Новороссийском. При жизни не публиковался. Первая книга: «Гроза» (1960).